

ЦАРИ И МЫ. («ПРОМЕЖДУ ГИЕНОЙ И ВОЛКОМ»)

Историко-литературные размышления

В книге «Дети-поэты Англии» я часто пишу о различных королях (видимо, любой «литературный» ребёнок считает долгом сочинить о них стих или поэму – как в детстве и я), и в конце концов я решил высказаться о самой сути предмета. В прозе. Каково моё отношение к власти в принципе? И какие ошибки чаще всего допускает общественное мнение, когда речь идёт о монархах и их ответственности перед своими подданными?

Ни на какую историческую новизну я не претендую, да и странно было бы на неё претендовать, если я вообще не историк. Но именно поэтому я, надеюсь, способен подойти к делу объективно. Как раз объективности чаще всего не хватает тем политикам, журналистам и историкам, кто пишет о сильных мира сего. Что никто из властителей не ангел, мы помним – сами не ангелы. С другой стороны, мы даже вроде бы искренне согласны, что «кому много дано, с того много и спрашивается». Но на практике объективные исторические факты интересуют нас очень и очень мало; главное – наш собственный душевный комфорт, который не терпит посягательств. Мы очень любим сказки про хороших, добрых царей, пусть даже они самолично убивают своих детей (жён, мужей, конкурентов; жён, мужей и детей этих конкурентов). Кого на сей раз прикончили – Ивана или там Алексея – это не слишком уместные детали: не надо было Изменять Родине, или же просто подвернуться под горячий посох... Такие сказки поднимают нашу самооценку. («Каков поп...»). Но, при известных обстоятельствах, когда в обществе побеждает незабвенное шариковское «Отнять и поделить!», мы охотно, даже надрывно согласимся и с тем, что «нет царей хороших, дурень... Стенька, гибнешь ты зазря!». Ведь отнимаем-то - МЫ, и отнимаем делимое – У НЕГО. (У царя, то есть. У Стеньки что-то отнять - лучше не пробовать...). И в результате всего этого многовекового, многогранного фарисейства большинство людей абсолютно не может - да и не хочет! - различить две внешне схожих позиции, между которыми лежит непроходимая пропасть.

Одна – лицемерно-агитпроповская дешёвка «Хорошо в царя вогнать обойму!». Это нам вдолбили со школьных лет. Автора её, Владим Владимыча Маяковского, я охотней назвал бы Паниковским. Не из-за внешнего созвучия, а по глубинной, внутренней сути, хотя честно заработанная лошажья нога весомее краденого гуся. Но Паниковский был жалким дилетантом, не уважавшим даже Сухаревской конвенции, тогда как Владим Владимыч – истинным сыном лейтенанта Шмидта от поэзии. Ибо я абсолютно убеждён, что и сам он, и большинство его агитпроповских коллег не верили в Советскую власть ни одной секунды. Ни до её победы, ни после. Если они вообще думали об этом.

Не будем отвлекаться и мы. Лучше прильнём пересохшими губами к животворной влаге оригинала – поэмы «Владимир Ильич Ленин»:

Хорошо
в царя
вогнать обойму!
Ну, а если
только пыль
взметнешь у колеса?!
Подготовщиком
цареубийства
пойман
брат Ульянова,
народоволец
Александр.

Мы не соблюдаем здесь традиционную «лесенку» стиха, и не «цепляемся» к факту, за который Владим Владимыч по большому счёту не отвечает. Потому что Александр Ульянов не был народовольцем. После убийства Александра Второго 1 марта 1881 года партия «Народная воля» была фактически разгромлена. И заговорщики, решившие в 1887 г. устроить «второе первое марта» (то есть, убить Александра Третьего в годовщину смерти его отца) называли себя народовольцами для солидности – в память о героях. Никакой чёткой программы или плана действий после убийства у них не было. «Я не верю в террор, я верю в систематический террор», - сказал на суде Ульянов. Утопия? Да. Террор – средство экстремальное, он не может быть гарантом общественного развития. Но это сказано честно, хотя одной такой фразы хватило бы для десяти смертных приговоров! Ведь Александр Ульянов рос в России, стране с полным отсутствием демократических традиций. Российские власти всех времён знали лишь одно: «Что захотим, то и сделаем, и нам никто не указ!». И Александр, никогда не видевший демократии, просто не мог себе представить, чем, кроме постоянного террора, можно заставить такую власть уважать народ. Не забудем также, что в вопросе о демократии Ульянов-старший вёл себя гора-аздо честней Ульянова-младшего – «самого человеческого человека», как жарко уверял всех Владим Владимыч. Родной и близкий очень чётко давал понять всем, кто об этом спрашивал: нету демократии – и не надо, она – штука буржуазная, и ничем хорошим не обернётся. Диктатура пролетариата, за которой присматривают товарищи вооружённые рабочие – вот путь к спасенью! Словом, из этих двух куда большим утопистом был брат Володя.

Но не об идеологических тонкостях, коих в поэме нет и быть не может, думает читатель. В его мозгу, быстро и ловко промытом Владим Владимычем, сразу возникает «картинка»: на пути следования императорской коляски (с открытым верхом, конечно – иначе как же целиться?) затаился Александр Ульянов. Замер, сжимая револьвер в чуть потной ладони... Прядь непослушных волос падает на высокий лоб. Выстрел... другой... промах!! А третьему выстрелу не быть: навалились и душат, накинулись и тащат... «М-хм...», - думает Читатель Моей Мечты. – Не успел... Секунды, наверно, не хватило. Жаль... Только... странно всё-таки. Неужели Александр так плохо стрелял, что *не только в царя, а и в коляску попасть не мог?* Ну да, я ж говорю, не было времени прицелиться. Или поэту просто рифма понадобилась: «колеса – Александр»? Возможно. Надо бы как-то *подчитать* обо всём подробнее, чтоб знать, как дело было. А то неловко: люди убивают царей, пишут поэмы, а ты сидишь, словно чинуша у Ильфа и Петрова, к которому пришёл этот... сын лейтенанта Шмидта. Он, конечно, лопух, чинуша-то, я бы такого «сынка» сразу раскусил, однако и он не без понятия. Верно вздыхал арбатовский председатель: «Глохнешь тут за работой. Великие вехи забываешь». Да, надо *подчитать*».

Но увы, это лишь Читатель Моей Мечты. Настоящий, «всамделишный» читатель так думать не будет. Он не привык анализировать то, что ему подсунули. И *подчитывать* ничего не будет. (Кстати, если бы глянул в «Википедию», то был бы, наверно, удивлён лаконизмом всех статей на данную тему: почти никаких деталей. У Владим Владимыча хотя бы «картинка», пусть странноватая, а тут вовсе ничего... Нет, серьёзно: всё-таки ЛЮБИМЫЙ БРАТ ЛЕНИНА, его светоч и кумир! И всё-таки, знаете ли, ЦАРЬ! Я ожидал огромных статей. Не потому ли подобный лаконизм, что прав кое-кто из постсоветских историков, и всё покушение было инспирировано жандармами, чтоб выслужиться перед царём?). И не узнает Читатель Моей Мечты, что сам Александр Ульянов в покушении на царя не участвовал: он только делал бомбы. Ибо от идеи выстрелов террористы отказались довольно быстро: лупить вслепую по стенкам кареты – шансов мало... Как и следовало ожидать, оставались бомбы – заряженные пулями, которые, в свою очередь, были отравлены стрихнином. Каждая рана – смерть. Только бросить их под карету царя метальщики не успели: за ними уже давно следила охранка, и их всех с поличным арестовала.

Ну, а если б они их бросили? Что тогда?

Приведём отрывок из передачи радио «Свобода», где затрагивался этот вопрос. *(Орфография и пунктуация оригинала, не вычитанного для печати. Кавычки и выделение красным шрифтом - мои. Цитирую, начиная с заключения следственной экспертизы обвинения. – Л.С.):*

<https://www.svoboda.org/a/382413.html>

**Неудавшееся покушение на Александра Третьего 1 марта 1887 года
(Радио «Свобода») 10 марта 2007**

«сфера безусловно смертельного действия, не считая разлета жеребеек, цилиндрических снарядов была бы не менее двух сажен в диаметре, а снаряда в виде книги - не менее 1,5 сажен; разлет жеребеек мог быть саженей на 10 во все стороны, причем самое незначительное поранение, нанесенное означенными отравленными жеребейками, повлекло бы за собой смерть. ...

Ольга Эдельман: То есть, вы понимаете? Они вышли на Невский проспект, их же задержали одного у Адмиралтейства, двух других - у Казанского собора, это людные места. И там они собирались бросить три бомбы с отравленными стрихнином поражающими элементами, с радиусом действия в 10 саженей каждая, это около 20 метров во все стороны. То есть это не только глупый теракт - в смысле политической перспективы. **Это еще и чрезвычайно подлый, мерзкий замысел. Кажется, самый гадкий за всю историю революционного движения, потому что я не помню, чтобы еще кто-то начинял бомбы отравленными пулями. И собирался бросить их на людной улице.**

Владимир Тольц: И вы знаете что, Оля? я совершенно убежден, что специального бесчеловечного замысла за этим не стояло. А стояло - примитивное недомыслие. Они ни о чем, кроме покушения на царя, не задумывались даже. Судьба случайных прохожих вообще не была предметом их размышления».

Ну, и что же я всем этим желаю доказать Читателю Моей Мечты (звучит, согласитесь, гораздо уважительней, чем «проницательный читатель» в «Что делать?»). Что не надо трогать царей? Или что хорошо в царя вогнать обойму, а вот отравленными бомбами

кидаться как-то не очень хорошо-с? Нет. Я хочу ещё раз повторить вслед за Достоевским: **одно беззаконие всегда влечёт за собой другое, уже никакой «порочностью жертвы» не оправданное.** Не сегодня влечёт, так завтра, не завтра, так После Нашей Победы, когда счёт пойдёт на тысячи, а то и на миллионы жертв! А что до «первого шага» (для кого-то самого трудного, для кого-то и не очень), то... совершенно неважно, надо вам вырваться из квартиры любой ценой, с окровавленным топором, позабыв, зачем пришли, или вы спокойно уходите, оставив за собою лишь один, заранее намеченный труп и тщательно прихватив все деньги. И нет уже тогда больше разницы, кто царь, а кто – старуха-процентщица, а кто – Исполнитель Приговора. Он тут же занимает место царя, хочет он того, или нет. Как правило почему-то хочет...

Итак, позицию под кодовым названием «обойма» самого любимого из всех детей лейтенанта Шмидта (а было их тогда видимо-невидимо, да и сегодня дефицита не наблюдается) мы рассмотрели. И решили, что не присоединимся к крику души Владим Владимыча: «Я жирных с детства привык ненавидеть, всегда себя за обед продавая!!!». Но есть другая позиция – глубоко философская, выстраданная, оплаченная не словесным фанфаронством, не лошажьей ногой, когда у других и того нет, а – смертной казнью. Которую лишь по высочайшему повелению заменили на Илимский острог. (А как по-вашему, помиловал бы Радищева на месте Екатерины «родной и близкий»? Я не желал бы ни вам, ни мне быть на месте Александра Николаевича Радищева, чтоб проверить это. Один звонок Феликсу Эдмундовичу по поводу контрреволюционной печатной вылазки недобитого «бывшего» чиновника - и можно допивать чай, пока не остыл, и редактировать тезисы доклада).

А ведь для неё, для государыни, сей Радищев и вправду был кошмар всех кошмаров. "Бунтовщик — хуже Пугачёва!" (Эти слова знает каждый школьник. Но почему один безоружный «хуже» целой вооружённой армии, и что царица сказала дальше, знает, может быть, не любой учитель-историк, а?) «Тот, хоть царём прикинулся, монархический строй исповедовал, а этот, революцией, надумал на Руси учинить республику!" И всё же она его помиловала. В политическом смысле слова императрица была намного **умнее** Ленина. Она понимала: если мелкий чиновник смеет бросать ей вызов – ЕЙ, Екатерине Великой! - то он уже не мелкий чиновник. Он – Суд Потомков собственной персоной, и с Судом этим надобно считаться. Пусть обвиняемый знает, что и У НЕЁ, у императрицы, есть свои законы и правила. Так Радищев заставил самодержавие говорить с ним его собственным языком – языком Закона. И по той же причине Александр Ульянов, веря в Террор, а не в Закон, подписал себе смертный приговор. Да воздастся каждому по вере его...

„Злодей, злодеев всех лютейший,
„Превзыде зло твою главу,
„Преступник, изо всех первейший,
„Предстань, на суд тебя зову! (22. Курсив здесь и ниже мой. – Л.С.).

Судя по тексту оды «Вольность», её автор вовсе не исключает цареубийства без процедуры правосудия, если нет для последнего возможности. Он с похвалой упоминает Брута и Телля, а в строфе 14, описывая народное возмущение, пишет:

Меч остр, я зрю, везде сверкает,
В различных видах смерть летает,
Над гордою главой паря.
Ликуйте, склепанны народы,

Се право мщенное природы
На плаху возвело царя.

Если смерть над царём летает *в различных видах*, то, значит, в виде простого убийства тоже – из песни слова не выкинешь. Но вот что важно отметить сразу: так же, как и в строфе 22, само понятие *мести, отмщения* для профессионального юриста Радищева, изучавшего право в Лейпцигском университете, прочно ассоциируется не с кинжалом и бомбой, а с *судом*! *Мщенное право*, пускай не законное, а природное, возводит царя *на плаху*. А где плаха – сначала должен быть суд.

Если же кого-то не убедили эти цитаты – мол, поэт есть поэт, что бы он там ни изучал, и мало ли как ему зарифмовалось! – то, думаю, строфа 23 уничтожает всякие сомнения по поводу чёткой позиции Радищева:

Я чту, Кромвель, в тебе злодея,
Что, власть в руке своей имея,
Ты твердь свободы сокрушил;
Но научил ты в род и роды,
Как могут *мстить* себя народы,
Ты Карла *на суде* казнил.

Радищеву вторит Пушкин в собственной оде «Вольность», за которую он был отправлен в южную ссылку. Вторит, обращаясь к Закону:

Лишь там над царскою главой
Народов не легло страданье,
Где крепко с Вольностью святой
Законов мощных сочетанье;

.....

**И горе, горе племенам,
Где дремлет он неосторожно,
Где иль народу, иль царям
Законом властвовать возможно!**

- Горе, горе... – ворчит Читатель Моей Мечты, которого я уже начинаю раздражать. - Заладил... Что ж мы, по-вашему, среднюю школу не кончали и всякие эти оды не проходили? М? Разумеется, если царя можно судить, то надо его судить. Кто же против, и кто этого не знает?

- Один юрист не знал-с, - подобострастно докладываю я. – Такой же юрист по образованию, как и Радищев. Полтораста лет прошло, а он вот не знал-с, не ведал-с. Последнего русского царя и всю его семью расстрелял-с без суда и следствия-с! Да и как их было не расстрелять-с? Ведь если самого Николая судить было и можно, и даже НУЖНО, - чтобы другим поджигателям мировой войны не повадно было! – то всю его семью, включая несовершеннолетнего наследника трона, пришлось бы отпустить! Что совершенно не окрыляло «родного и близкого», проявившего к царю самую чёрную неблагодарность...

- Неблагодарного? Вы о чём?

- Да как же-с! Не впутай царь Россию в мировую войну, ничего бы у большевиков не вышло! Что они сами признавали. И пробовали уже до этого... Николай сделал всё, чтоб

левые экстремисты наконец получили власть, и им следовало вспомнить его заслугу, прежде чем расстрелять его детей.

Настроение у моего Читателя, и ранее не ахти какое, окончательно испорчено. Ведь он полжизни прожил при Советской власти. И жил бы дальше, когда б не судьба-индейка... Каково же ему слушать крамолу?

- Мммх.... – Он начинает медленно багроветь. – Мхм. А ты... а вы задумывались над тем... - И набирает в грудь воздух, чтобы стать ещё внушительней, хотя он и так весьма представительный мужчина. - А вы понимаете, сколько детей бедняков погибло бы в гражданской войне за то, чтобы посадить на трон этого царёнка?

- Он не царёнок. Он ребёнок. И ничем не отличался от ваших детей – Васи, Зиночки и Кирюшки. Кстати, вы его когда-нибудь видели?

- Э.

- Если «Э» - это «нет», то вот он.



- Во время подвальной бойни в него стреляли два-три раза: никак не умирал. Что вы хотите - тринадцать лет, никакой сознательности... И в результате – расход боеприпасов! Ведь мальчишка стоять не мог – у него был приступ гемофилии, и его внесли в подвал на руках...

- Замолчите! Вы издева...

- Да, и кстати: одним из вариантов «казни» было заколоть всех кинжалами во сне. Или забросать гранатами. Тогда бы Алёша Романов никого не задержал. Ну, а по поводу вашего вопроса насчёт ненужных жертв, которых якобы кто-то избежал бы, казнив царских детей... К семье Романовых такие тревоги отношения не имеют. Гражданская война началась в мае 1918 года в моём родном Челябинске – восстанием Чехословацкого корпуса, не желавшего разоружиться по требованию Советской власти. И окончилась в марте 1923 года, даже и не подумав прекратить после смерти царя и

его наследника. Слишком многие потеряли бы – и действительно потеряли! - ВСЁ, чтобы сдаться, пока не истощились любые силы и средства. А основной причиной поражения белых армий сочувствующие им историки считали отсутствие поддержки населения – но вовсе не то, что некого было бы посадить на трон в случае победы. Да и свергнут был царь, как вы помните, не Советской властью. Так что если бы он был жив, это, вероятно, только отталкивало бы россиян от белых знамён. Мне даже знаете что кажется ненастными вечерами?

Читатель Моей Мечты угрюмо молчит. Он не хочет знать, что мне кажется ненастными вечерами. Он хочет одного: сберечь привычный мирок своих понятий. Как захотел бы того же любой из его знакомых, друзей, родных. Отчего мне не замолчать и не оставить его в покое? Сам не знаю.

- Мне кажется, что если бы всё дело было в царе, если бы от революции можно было откупиться смертью Романовых, то господа придворные и господа генералы выдали бы их в подарочной упаковке с розовым бантиком – всех, всех до одного! – на расправу населению. Как выдали когда-то Екатерине Пугачёва его сподвижники... А? Вы не находите?

- Э!

- И если в Кровавое воскресенье расстреляли веру в царя, то для любого умного человека расстрел царской семьи был концом веры в Советы. Ни Ленин, ни его окружение, вероятно, не признавались себе в истинной причине того, почему суд над царём был невозможен, и тешили свою совесть разговорами, что вот «надо бы, да времени нет, и фронт близко, и солнце уже низко...».

- Невозможен? – восторженно Читатель. – А, сами же говорите – НЕВОЗМОЖЕН! Ну, и почему он был невозможен?

- Для начала, как я уже заметил – пришлось бы отпустить всех детей. Главная же причина... Суд над прежней властью означал бы, что и новая в принципе подсудна. Это был бы официальный и большой шаг в сторону правового государства, в сторону парламентаризма! Но никакого правового государства большевики создавать не собирались. Такие вещи – всегда «поперёк характера», «поперёк сознания», привыкшего только к одному праву: праву сильного. И Ленин, и особенно Сталин, и все последующие вожди и вождишки с точки зрения массового российского сознания не были «товарищами наркомами» и «товарищами генсеками». Каждый из них был НОВЫЙ ЦАРЬ-БАТЮШКА – НЕКРИТИКУЕМЫЙ, НЕПРИКАСАЕМЫЙ И НЕСМЕНЯЕМЫЙ. А царя можно изгнать, заточить, убить – но не судить. Так что Советская власть была по сути дела классической монархией – не наследственной, зато абсолютной... Вот почему я не вижу ничего неожиданного в следующей интересной цитате из «Википедии»:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2,%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#%D0%90%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0_1790%E2%80%94%D0%B3%D0%B3.

Радищев, Александр Николаевич

(...) Вплоть до 1970-х годов возможности ознакомиться с «Путешествием» для массового читателя были крайне ограничены. После того как в **1790** году почти весь тираж

«Путешествия из Петербурга в Москву» был уничтожен автором перед арестом, до 1905 года, когда с этого сочинения было снято цензурное запрещение, общий тираж нескольких его публикаций едва ли превысил полторы тысячи экземпляров. Заграничное издание Герцена осуществлялось по неисправному списку, где язык XVIII века был искусственно «осовременен» и встречались многочисленные ошибки. В 1905—1907 годах вышло несколько изданий, но после этого 30 лет «Путешествие» в России не издавалось. В последующие годы его издавали несколько раз, но в основном для нужд школы, с купюрами и мизерными по советским меркам тиражами. Ещё в 1960-х годах известны жалобы советских читателей на то, что достать «Путешествие» в магазине или районной библиотеке невозможно. Только в 1970-х годах «Путешествие» начали выпускать по-настоящему массово. *(Конец цитаты. - Л.С.)*.

- Вы что ж, хотите сказать, что матушка Советская власть... БОЯЛАСЬ АЛЕКСАНДРА РАДИЩЕВА?! – Мой Читатель больше не раздувается, как удав, готовый заглотнуть кролика. Он устал. От меня. От жизни. И только уж вовсе особенная ересь может ещё вдохнуть в него искру бодрости.

- Ваши озарения радуют. А кого ещё ей было бояться? Ведь Радищев был и остался единственным в нашей истории человеком, кто открыто и прямо, не для отвода глаз, а по-настоящему требовал суда над царями, как если бы они были обычными людьми! Возможно, если бы Ленин изучал право в Лейпциге, а не в Казани, он рассуждал бы так же.... Но тогда он не стал бы Лениным, и пределом его мечтаний было бы выжить в России самому.

Ну вот, про царей мы поговорили. Про суды и расстрел Романовых - тоже. Но есть ещё одна большая, интересная тема, над которой стоит подумать: как всё это осмыслялось современниками, когда стихли выстрелы на Урале? И как осмысляется сегодня? Что опять возвращает нас к Владим Владимычу. Если долгую жизнь товарища Ленина надо писать и описывать заново, то «Цари и мы» невозможны без таких же описаний товарища Маяковского. Он, поэтически говоря, – «Ильич возмездия»! Я даже стих сочинил. Свой. Ни у кого не списал.

Нечисти почесть -

по-божьи и по-чертовски!

Корчиться нам ли,

что «слишком»,

а что «не слишком»?

Мы говорим «вышка» -

подразумеваем «Маяковский».

Мы говорим «Маяковский» -

подразумеваем «вышка».

Читатель Моей Мечты сопит. Стих несколько оживил его. Пользуясь этим, я продолжаю наступление по всему фронту:

- А знаете, какой славный стих написал про расстрел царя САМ Владим Владимыч? Пальчики оближете! Он...

- И ЗНАТЬ НЕ ЖЕЛАЮ!!!

- Но он же ДЛЯ ВАС ПИСАЛ! И сам себя смирял, становясь на горло собственной песне. А вы нос воротите... Представьте себе: зима 1928 года. Десятилетняя годовщина События. И Поэт собирается в долгий путь на мою неисторическую родину – Урал. В Екатеринбург. Осматривать заводские корпуса! И стройплощадки. И – царскую могилу... Другой бы на его месте не полез – внял бы Гласу Свыше: «Дорогой, ты много шумишь, и нас это начинает раздражать. И не только это... Думаешь, мы не замечаем, что за десять лет со дня победившей революции ты, наш всесоюзный «Ать-Два-Левой!!!», так и не выбрал времени вступить в партию? Или, думаешь, мы забыли, как до этой самой революции ты, чуток посидев в тюрьме, ушёл из РСДРП навсегда? Жажда знаний обуяла, когда запахло Нарымом... Какой-то попутчик, дворянин, а горланит громче всех пролетарских писателей, вместе взятых. Ох, кабы не твой Луначарский! Ничего, мы с вами обоими разберёмся... А добровольцев-то с тобой разобратся мно-о-го будет. Ведь скольким ты в лицо плевал, триумфатор, о скольких ноги вытер! Но это будет завтра. Пока же... мы молчим о чём-то – и ты молчи». Однако у Владим Владимыча нет сил молчать – как не было их у Льва Толстого, пускай по совершенно другим причинам. Лев Николаевич не мог молчать о смертных казнях вовсе не потому, что боялся конкуренции какого-нибудь Демьяна и массы более мелких, но всё более дерзких Иванушек Бездомных, рвущих из ваших рук «агиткорону»...

Оставим пока Поэта наедине с Вечностью - эти Двое всегда договорятся. Обратимся к ползучей прозе жизни: статье петербургского священника Г. Беловолова, рассказавшей нам столетие спустя, как Двое договорились. Хорошо пишет батюшка, с душой! (Вообще-то я атеист, и для меня похвала священнику – дело редкое. Но нет правил без исключений. Прочёл же я когда-то с удовольствием статью Андрея Кураева «Когда стыдно быть православным...» - о религиозных нападках на «Гарри Поттера». Прочёл и подумал: вот были бы все священники такими, как этот – может, я бы им и поверил. Правда, недавно я узнал, что он «извержен из сана». Логично. Жаль...).

Ещё раз напомним: вся маркировка текстов данного очерка красным цветом и все подчёркивания принадлежат мне.

<https://otets-gennadiy.livejournal.com/264077.html>

Протоиерей Геннадий Беловолов

9 März 2017, 00:35

НЕМНОГО ПОЭЗИИ или Что искал Маяковский на Ганиной яме?

На презентации в музее Достоевского альбома «Дом Ипатьева»(см: <http://otets-gennadiy.livejournal.com/263104.html>), инициатор его издания А.Л.Казаков рассказал о деятелях культуры, которые в советское время посещали место расстрела царской семьи. Среди прочих он назвал имя **Маяковского**.

- А этот что тут делал? - невольно подумал я. Вечером запросил интернет и узнал, что певец революции не только был в Доме Ипатьева и на Ганиной яме, но еще и стихотворение по этому случаю написал под названием «Император».

Не будучи поклонником музыки пролетарского поэта, я даже не подозревал, что у него

есть стихи на эту дорогую для меня тему, столь актуальную ныне в преддверии 100-летия начала Русской Голгофы.

Вопрос, что же певец революции мог написать о гибели царской семьи, заставил меня найти это стихотворение и прочитать его...

Не собираюсь заниматься литературоведческим анализом этого опуса. Давно уже оставил это дело. Но пару мыслей по-человечески захотелось высказать.

Документальная основа произведения такова: будучи в Свердловске в январе 1928 года, Маяковский попросил тогдашнего председателя местного Облсовета А.И.Парамонова о поездке к Ганиной яме на место уничтожения тел царской семьи. Просьба живого классика советской поэзии была уважена — 28 января Маяковский и Парамонов отправились на подводе лошадей разыскивать в лесу могилу императора. Трудность состояла в том, что это место никак не было отмечено на местности. По одним сведениям — это место было отыскано, по другим — «место захоронения императора в тот день так и не удалось показать Маяковскому». Результатом поисков стало написание стихотворения "Император", приуроченное как раз к 10-летию трагедии. В том же году оно было напечатано в журнале «Красная новь».

Стих состоит из трех частей. В начале автор вспоминает, судя по всему, реальный эпизод встречи с царской семьей, когда Маяковский в какой-то церковный праздник на Тверской улице в Москве увидел проезжавший открытый автомобиль (т.н. ландо), в котором был Государь с четырьмя дочерьми: «Помню - то ли пасха,/ то ли — рождество:/ вымыто и насухо/ расчищено торжество.»

Прежде чем привести далее текст рифмованного опуса, хочу напомнить, что автор пишет все это только что побывав на месте кровавой бойни, где ему, конечно же, красочно расписали убийство царской семьи во всех подробностях, а также на месте сожжения останков у Ганиной ямы.

«И вижу - катится ландо,/ и в этой вот ланде/ сидит военный молодой/ в холеной бороде./ Перед ним, как чурки, четыре дочурки.»

Маяковский описывает событие скоморошным слогом в жанре сатирической агитки. Все это должно позабавить и рассмешить читателя. Если бы это стихотворение было написано до революции, классовая ненависть автора имела бы хотя бы какое-то оправдание. Но ведь Государь и эти девушки уже злодейски убиты...

Маяковский жил в стране победившего коммунизма и убитый царь не представлял никакой опасности ни для власти, ни лично для Маяковского. "Враг" был уже повержен, как и призывал поэт: «Сдайся, враг, замри и ляг!» Теперь-то уж что злобствовать? Можно побыть и благородным. Но у поэта не нашлось ни одного слова сочувствия и сострадания к жертвам убийства. Хотя бы просто сработал инстинкт защитить беззащитных девушек, младшей из которых, Анастасии, едва исполнилось 17 лет. Ничто не шевельнулось и ничто не дрогнуло в душе поэта. Своими строками он продолжает расстрел в Ипатьевском подвале. Впору сказать о нем "в руке не дрогнул пистолет..."

В другом стихотворении, написанном в том же 1928 году также после поездки «Екатеринбург — Свердловск» поэт прямо призывал к убийству царя: *«...к чертям орлов Екатерины*

и к богу — Екатерины потомка.»

Впрочем, в черновиках к «Императору» пролетарский стихотворец обсуждает и вариант оставить в живых царскую семью, но только с одной целью — не поверите! — поместить в зоопарк:

«Живые... Так можно в зверинец их -

Промежду гиеной и волком.

***И как не крошечен толк от живых,
от мертвого меньше толку...»***

Видимо, расстрел для поэта был слишком гуманной мерой наказания.

Возникает вопрос, а зачем Маяковский вообще с таким настроем ездил по местам страданий царской семьи?

Невольно напрашивается невеселая мысль, что Маяковскому это было нужно, чтобы удовлетворить свою какую-то тайную страсть - наслаждение от боли и унижения другого человека, да еще царского достоинства. Это ничто иное, как торжество хама.

Говорят, преступников тянет на место их преступления.

Но ведь поэт, скажут мне, никого не убивал. Да, но это совершенно не обязательно. Важно, что Маяковский полностью себя отождествил с революцией, с ее кровавыми вождями и с ее кровавыми преступлениями. Он стал адвокатом дьявола. Он принял на себя миссию поэтического жреца идола революции: "Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить". Его реально тянуло увидеть место самого главного и самого страшного преступления революции 1917 года, для чего собственно она задумывалась и совершалась — цареубийство.

Вторая часть стихотворения "Император" рассказывает о поисках погребения императора, то есть Ганиной ямы, в компании с представителем свердловской партноменклатуры. Маяковский с топографической точностью и с эпическим размахом описывает эти поиски, но как оказывается, только с одной целью - чтобы в конце произнести сакральную фразу - "император зарыт":

*За Исетью, где шахты и кручи,
за Исетью, где ветер свистел,
приумолк исполкомовский кучер
и встал на девятой версте.*

Вселенную снегом заволокло.

Ни зги не видать - как на зло.

*И только следы от брюха волков
по следу диких козлов.*

...Здесь кедр топором перетроган,

зарубки под корень коры,

у корня, под кедром, дорога,

а в ней - император зарыт.

Именно в этой фразе и выражен смердяковский «апофеоз победителя».

Заканчивает Маяковский свое стихотворение "Император" зловещей угрозой в духе агиток того времени:

«Прельщают многих короны лучи.

Пожалте, дворяне и шляхта,

корону можно у нас получить,

но только вместе с шахтой.»

Угроза обращена уже к будущим временам восстановления царского престола на Руси и носит характер заговора-заклинания.

Итак, стихотворение Маяковского "Император", очевидно, не только оправдывает бесчеловечное убийство невинных людей, но провоцирует и будущее убийство помазанника Божьего. Даже вполне светский современный литературовед (О.Лекманов) охарактеризовал это стихотворение как "людоедское";.

На примере этого опуса несчастного поэта "в широких штанинах", мы видим как сознание классовой ненависти реально помрачало сердце и плавало мозги, делая из людей бесчувственных зомби, которые оправдывали самые страшные и кровавые преступления против человечности.

На примере Маяковского видишь, как революция убивает в человеке человека, убивает самые простые, естественные и ясные чувства — сострадания, сочувствия, жалости к ближнему, которые являются базовыми основами человеческого бытия. К юбилею 10-летия революции перед нами предстает вполне состоявшееся нравственное уродство и ничтожество, у которого за душой кроме советского паспорта в кармане ничего нет. После таких стихов становится неудивительным известный конец этого несчастного человека, из-за которого даже о душе его помолиться невозможно.

Но этого певца терроризма до сих пор учат наизусть в школе наши дети.

Кто спросит, чего это я вспомнил поэта, которого многие молодые люди сегодня считают всего лишь станцией метро? Но ведь подобный феномен отсутствия жалости и сострадания к жертвам злодейского убийства уже в юбилейный год 100-летия екатеринбургской трагедии лежит в основе психологии создателей и столь обсуждаемого фильма "Матильда". Наверное, и эти творческие деятели также учили стихи Маяковского наизусть, тоже ездили на Ганину яму что-то там искать... Вот и выучили, вот и нашли. *(К сожалению, конец статьи. Я хотел бы, чтоб она никогда не кончилась, ибо тот, о ком идёт речь, опозорил не одну только Советскую власть — на грязи грязи не видно. Он опозорил нас всех — всех русских поэтов всех времён! — Л.С.).*

Впрочем, я ещё могу процитировать один из 70 комментариев к этой статье. Он мне запомнился. А говорят иные, будто бы «глас народа» - выдумка, и у простых людей нет своего мнения - словно у кукол в руках очередного мастера-кукловода...

[Наталия Новоселова](#)

[9 März 2017, 10:42:58 UTC](#) Edited: 9 März 2017, 11:25:30 UTC

С постом приятным, Батюшка! Этот пост я прочла утром. Он меня потряс до глубины души. До сих пор нахожусь в этом состоянии.

Я и ранее отрицательно относилась к личности Маяковского, но этот новый черный мазок к его портрету, еще более подтвердил мою нелюбовь к этому типу...

Знала я, что у него притуплены моральные человеческие принципы, или точнее, они извращены,- жить втроем с Л. Брик и ее мужем,- и считать это нормой жизни,- это скорее ближе к животному инстинкту.

Как же нужно было ненавидеть Монархию, Царя, его семью, чтобы по прошествии 10 лет после свершившегося злодейского убийства, не полениться среди зимы поехать в такую даль на Урал, по снегу пробираться к месту захоронения Мучеников! Какие чувства переполняли этого агитационного поэта? Жажда получить очередную порцию яда и насладиться запахом крови? почувствовать себя соучастником этого убийства???

Что меня больше всего пугает? В свое время нам, советским школьникам, вбивали в

наши головы знания и любовь к поэзии этого монстра. Но, к великому сожалению, это ведь продолжается и в наше время. И детям не объясняют его жизненные звериные принципы. Яд его поэзии впрыскивается в сознание подрастающего поколения. Тут мне вспомнилась басня нашего великого поэта И.А.Крылова "Сочинитель и Разбойник", где Сочинитель, который...

...тонкий разливал в своих твореньях яд,
Вселял безверие, укоренял разврат,
Был, как Сирена, сладкогласен,
И, как Сирена, был опасен, -

получил после своей смерти в аду большее наказание, нежели грабитель с большой дороги. И писатель кричит среди мученья, что...

... славой он наполнил свет
И ежели писал немножко вольно,
То слишком уж за то наказан больно;
Что он не думал быть Разбойника грешней.

Однако если греховные дела Разбойника закончились с его смертью, то «яд творений» Сочинителя «не только не слабеет, // Но, разливаясь, век от веку лютееет».

Вот почему ему вынесен более строгий приговор:
Смотри на злые все дела
И на несчастья, которых ты виною!
Вон дети, стыд своих семей,—
Отчаянье отцов и матерей:
Кем ум и сердце в них отравлены?— тобою.

Воздействие на умы молодые продолжается((((
Конечно, можно посожалеть об участии, приготовленной для души этого товарища. Но это добровольный выбор самого человека. И выбор был сделан...*(Конец комментария Н. Новосёловой.- Л.С.).*

Думаю, я мог бы кое в чём дополнить отца Геннадия. Он не знает литературных нравов и, боюсь, недооценивает многохитростного Владим Владимыча. Маяковский мог быть плохим стратегом в политических играх, но «тактиком стихосложения» он был отличным. Да и кто его всегдашняя жертва, его ничего не подозревающий противник? Самый доверчивый и почти самый невежественный читатель в мире... Я даже позволю себе временное отступление от «Императора», вспомнив не только о Николае Втором, но и о Владимире Первом. Который вступил на трон по всем правилам, убив всю семью предшественника – что твой Лжедмитрий!

Предлагаю читателю два тезиса – каждый с обоснованием:

Тезис А. Ни в какой Смольный Владим Владимыч 25 октября 1917 года не ходил, и никакого Владимира Первого там не видел.

Тезис Б. И встречу с царской семьёй, покуда она была ещё жива, Маяковский почти наверняка выдумал. Между тезисами А и Б нет прямой связи, Однако поэт один и тот же, психология и «творческая кухня» одна и та же, так что «враньё А» позволит нам лучше понять и «враньё Б». Цари и мы.

Обоснование А. (Ни в какой Смольный Владим Владимыч 25 октября 1917 года не ходил, и никакого Владимира Первого там не видел).

Когда победила революция, многие люди, не имевшие к ней никакого отношения, стали стремительно «краснеть» - не от стыда, а по совершенно иным соображениям. Их «воспоминания» всецело зависели от их личной щепетильности. И то, что я цитирую ниже - это ещё по-своему честно. Смесь вынужденной честности с кокетливым фарисейством:

Даже для самого красного слова
Не пытаюсь притворяться я.
Наша память – это суровая
Неподкупная организация.
Ведет учет без пера и чернила
Всему, что случилось когда-либо.
Помнит она только то, что было,
А не то, что желали бы.
Например, я хотела бы помнить о том,
Как я в Октябре защищала ревком
С револьвером в простреленной кожанке.
А я, о диван опершись локотком,
Писала стихи на Остоженке.

.....
А я утопала во дни Октября
В словесном шитье и кройке.
Ну что же! Ошибка не только моя,
Но моей социальной прослойки.

(«Прослойки» - то есть интеллигенции, паразитирующей на шее трудового народа.– Л.С.).

Если б можно было, то я
Перекроила бы наново
Многие дни своего бытия
Закономерно и планоно.
Чтоб раз навсегда пробиться сквозь это
Напластование фактов,
Я бы дала объявление в газету,
Если б позволил редактор:
«Меняю уютное, светлое, теплое,
Гармоничное прошлое с ванной –
На тесный подвал с золотушными стеклами,
На соседство гармонички пьяной».
Меняю. Душевною болью плачу.
Но каждый, конечно, в ответ: «Не хочу».

(Вера Инбер. «Вполголоса: К годовщине Октября», 1932)

Повторяю – перед вами ещё не самый тяжёлый случай. Наш Владим Владимыч кокетничать своим дворянским приосхождением умел не хуже мадам Инбер. Это только Дантесу нельзя быть дворянином, а Маяковскому и Пушкину – можно. Даже нужно.

Столбовой отец мой

дворянин,

кожа на моих руках тонка.

Может,

я стихами выхлебаю дни,

и не увидав токарного станка.

Надо, разумеется, после этого уверить читателя, начисто лишённого поэтического слуха, как ты всё ушедшее, рабье - «каждым острием издыбленного в ужас волоса» - Н-НЕНАВИДИШЬ!!! («Такова была моя участь с самого детства...». Был бы Печорин, а княжна Мери всегда найдётся). Но, в отличие от мадам, Владим Владимыч был профессионалом и всегда чётко, по-агитпроповски знал, какое воспоминание ему нужно (значит, оно было), какое нет (значит, его не было!). Воображаемые визит в Смольный и встреча с Лениным – да, это пригодится. Реальное членство в партии, ответственность, побегушки с утра до ночи, и с ночи до утра? Ещё чего!!!!

В 1922-28 годах Владим Владимыч написал автобиографию «Я сам». Одно название чего стоило – истинная пощёчина всякому правоверному партийцу! «Самим» мог быть Ленин. Или Троцкий. Или Зиновьев. Дальше шла Партия, а за нею – железные пролетарские колонны и неоднозначное по классовой сущности крестьянство, требующее жёсткого присмотра. А уже в хвосте – «бывшая» беспартийная шушера, которая должна знать своё место так же твёрдо, как негры в Америке и Вера Инбер - в поэзии. Горький мог бы не вымучивать четырёхтомного «Клима Самгина» - нравоучительно-тягучего и бездарного, клеймящего интеллигентскую «самость», зловредное нежелание слиться с «массой». Перед ним, во плоти и крови, высился Монумент Самому Себе – заявляющий в финале искромётного жизнеописания: «Многие говорили: «Ваша автобиография не очень серьёзна». Правильно. Я ещё не заакадемичился и не привык нянчиться со своей персоной, да и дело моё меня интересует, только если оно весело». Может, это не скромный Маяковский придумал столь откровенное заглавие, а его нескромная «персона» - выждав, пока он отвернётся? Ну что ж, революцию для того и делали, чтоб повеселиться... На политическом языке двадцатых годов его жизнерадостное «САМ» значило: «Никуда не вступлю, никому не подчинюсь, я вам не «левой-левой ать-ать», дурачье вы этакое, а Гений, а если я и согласен выкрикивать такое, то чтобы маршировали ВЫ. Но не Я. Всем ясно? Улыбочку...». Улыбочки не было у многих, хотя автобиография выдержана в подчёркнуто шутовских тонах. Будем объективны: перед нами ещё не стиль Любоедки Элочки, даже не стиль её высококультурной подруги Фимки Собак. Лично мне он напоминает нечто более современное и, надеюсь, всё ещё памятное людям моего возраста: «Поскользнулся, упал. Потерял сознание. Очнулся – гипс!». И этот стиль вовсе не простодушен – он лишь создаёт впечатление «простодушия». Маяковский владел подобными приёмами в совершенстве. С помощью шутовства, перенятого у фашиствующих итальянских учителей, футуристы зарабатывали очень большие деньги, эпатируя столичную публику. А в данном случае, если автобиограф откровенно «валяет дурака», его практически невозможно поймать на лжи. И в советские времена, вздумай

вы нахмуриться («Позвольте, позвольте, да что же он такое несёт? ЗА КОГО ОН НАС ПРИНИМАЕТ?!») – Профессор Очки-Велосипед тут как тут. «Чшшш, - укоризненно говорит он нам. – С вами шутят, а вы... Не будьте букой! Великий пролетарский поэт вам ВЕРИТ! Не то чтоб он держал вас за ровню, - это смешно! – но он ВЕРИТ И НАДЕЕТСЯ, что вы поймёте его юмор. Его сатиру. Его боль... Которая всегда кроется за ними. Я думаю, что перекрёстный допрос здесь неуместен!». И, на миг затихнув (все манипуляторы, выдав тираду, хотя б на секунду затихают – проверить, стало вам стыдно, или нет), поворачивается к вам спиной и удаляется в свою монографию.



<https://galkovsky.livejournal.com/26159.html>

Бюст Маяковского работы Лили Брик и дуче.

Но вот, отбросив обычные шутки-прибаутки (понимал, что на сей раз не сработает), Владим Владимыч вполне нормальным, человеческим языком объясняет нам, почему, выйдя из тюрьмы, ушёл также из РСДРП:

«ТАК НАЗЫВАЕМАЯ ДИЛЕММА (А на самом деле её и не было? Это был пустячок – уйти из партии? – Л.С.).

Вышел взбудораженный. (Думаете, тюрьмой? Тем, что наконец дома, куда скорей всего мог и не вернуться, если б не очередная мягкость «сатрапов»? Тем, что семья столько времени жила в страхе за него? Но для Володички подобное сляктыство - не тема. Всё куда важнее: Белый ест ананас спелый!!! Если кто заподозрит, что я сошёл с ума, дочитайте абзац, и истина озарит ваш не понимающий шуток мозг. – Л.С.). Те, кого я прочел, - так называемые великие. Но до чего же нетрудно **писать лучше их**. У меня уже и сейчас правильное отношение к миру. **Только нужен опыт в искусстве**. (Минуточку, минуточку! Как это «в искусстве»? При чём тут оно – то есть живопись, ваяние и зодчество? Речь, кажется, только что шла о совсем другом роде деятельности – литературе и её недостойных классиках, которых следует превзойти. Или художники и скульпторы – тоже недостойные? А их где успел познать? Не в тюрьме же? – Л.С.). Где взять? Я неуч. Я должен пройти серьёзную школу. А я вышиблен даже из гимназии, даже и из Строгановского. Если остаться в партии - надо стать нелегальным. Нелегальным, казалось мне, не научишься. Перспектива - всю жизнь писать летучки, выкладывать мысли, взятые из правильных, но не мной придуманных **книг**. Если из меня вытряхнут **прочитанное**, что останется? («Книги», «прочитанное»... И опять о литературе, причём уже даже не

художественной, а чисто пропагандистской,». Тема будущей деятельности кардинально меняется в третий раз, но так, чтоб невнимательный читатель не замечал ложной «синонимии». – Л.С.). Марксистский метод. Но не в детские ли руки попало это оружие? Легко орудовать им, если имеешь дело только с мыслью своих. А что при встрече с врагами? (О, вот даже как... Ну тогда оставаться в партии значит и впрямь играть на руку классовым врагам! - Л.С.). Ведь вот лучше Белого я все-таки не могу написать. Он про свое весело - "в небеса запустил ананасом", а я про свое ною - "сотни томительных дней". (А что, с врагами марксизма надо полемизировать о весёлом поэте Белом и невесёлом поэте Маяковском? Я-то думал, этих методологических извращенцев волнует не поэзия. И даже, быть может, не веселье... Наверно, я просто не читал жизнерадостных стихов и поэм Маркса, Энгельса, Ленина, Гегеля, Плеханова... «Философы в ананасы играют, как в мячики...». Срочно зайти в библиотеку! А пока - четвёртый «тематический перескок», теперь уже... в никуда. – Л.С.). Хорошо другим партийцам. У них еще и университет. (А высшую школу - я еще не знал, что это такое - я тогда уважал!) (И ЧТО ЖЕ ЭТО ТАКОЕ? Не интригуйте нас, расскажите... Всюду упадок. «И не так мосты мостят, и не так детей растят». - Л.С.).

Что я могу противопоставить навалившейся на меня эстетике старья? Разве революция не потребует от меня серьезной школы? Я зашел к тогда еще товарищу по партии - Медведеву: хочу делать социалистическое искусство. (Пятый «перескок». Опять «искусство», пускай с хилой привязкой к «методу» - через «социалистическое». Литературные классики, и даже Белый, окончательно куда-то исчезли. Зачем же они вообще понадобились? Ответ прост: в тюрьме можно было познакомиться только с ними. Но не «искусством». Стало быть, без них вообще непонятно, из-за чего нужно взбудораживаться и громоздить весь этот словесный хаос. Ведущий нас в нужном направлении вовсе не хаотично, а очень ловко и чётко: спасти марксизм-ленинизм, уйдя ради столь великой цели из партии и занявшись ПРЕЖДЕ ВСЕГО искусством. А дальше, ПОТИХОНЬКУ, ЕСЛИ БУДЕТ ЖЕЛАНИЕ И ВРЕМЯ – литературой, с её ничтожными классиками. - Л.С.). Сережа долго смеялся, кишка тонка.

Думаю все-таки, что он недооценил мои кишки. (Теперь посмеяться! «Расслабить» тех чересчур внимательных простаков, которые, впитав всё это, озадаченно моргают. Они чувствуют, что что-то «не так», концы с концами не сходятся... но что именно «не так» - осмыслить не могут. Ещё бы! Такой хитроумный «лабиринт» сделал бы честь любой египетской пирамиде. – Л.С.).

Я прервал партийную работу. Я сел учиться». Всё. Величая скромность. Шах и мат! Васюкинцы аплодируют гроссмейстеру...

Итак, подсчитав «перескоки тем» (Читатель Моей Мечты не заметил бы ни одного, дай ему бог здоровья и чин главбуха), я немею перед мастерством Владим Владимыча – как немел перед законом Чичиков. Искренне извиняюсь перед читателем за мои откровения типа: «Волга впадает в Каспийское море, а лошади кушают овёс». Иначе говоря – что, оказывается, литература и искусство – совсем не одно и то же! И, оказывается, философский метод – это метод, а художественный образ – всего лишь образ, и защищать первый с помощью второго, да ещё перед звероподобным лицом классовых врагов – задача весьма беспомощная. Ибо на самом деле решается она не свеженьким стихом или отрывком из нового романа, и не картиной и статуей, предъявленной этим побледневшим врагам непонятно на каком диспуте. А решается она, оказывается, тем, что Владим Владимыч только что на наших глазах послал «ко всем чертям с матерями»:

философской и партийной литературой, для пропаганды какой нужно... угадайте, что? Правильно. Членство в партии.

И несколькими строками ниже становится ясно, откуда и для чего взялось «искусство» там, где явно готовилось «избиение литературных классиков». Сперва узнаём: «Думалось — стихов писать не могу. Опыты плачевные. *(Вот тебе и «одним махом всех побивахом»...* Почему же думал, что «нетрудно» всех превзойти? И кого именно, кстати? - Л.С.). Взялся за живопись». Так... Фамилии художников, у кого учился. Начинал с мазни. «Поступил в Училище живописи, ваяния и зодчества: **единственное место, куда приняли без свидетельства о благонадёжности**». Элементарней некуда, Ватсон... В этом всё дело: найти щель, куда можно юркнуть от полиции. Чтоб о тебе забыли — и жандармы, и партийцы. Но если вас по-прежнему терзают сомнения, не оболгал ли я Владим Владимыча, не избил ли, то вот и запись за 18 год: «Отчего не в партии? Коммунисты работали на фронтах. В искусстве и просвещении пока соглашатели. Меня послали б ловить рыбу в Астрахань». Гы-гы, читатель благородный... Такое и комментировать не стоит. Спрошу лишь: а что, в 28-м году, когда дописывалась автобиография, коммунисты тоже всё ещё были на фронтах? А в искусстве - сплошь вредители? Которые только б и мечтали послать знаменитого поэта, протеже Луначарского, на Волгу. И там утопить, как Стенька Разин — княжну.

К чему всё это «конструировал» Маяковский, мы, надеюсь, увидели. Ему больше не было до партии никакого дела, но он не собирался никого огорчать такими признаниями. А что это даёт нам? Прежде всего, верное понимание знаменитого отрывка из автобиографии:

«Октябрь

Принимать или не принимать? Такого вопроса для меня (и для других москвичей-футуристов) не было. Моя революция. **Пошёл в Смольный. Работал. Всё, что приходилось. Начинают заседать».**

Эта запись — без дат, без единой детали или имени, в упомянутом стиле «Очнулся — гипс!» - думаю, должна была умышленно ввести читателя в заблуждение. Ну конечно, Поэт прежде всего имел в виду свой визит в штаб революции В ТОТ ДЕНЬ. Когда он видел... ЕГО! О чём и поведал миру в поэме «Владимир Ильич Ленин». «Ярчайший день» его жизни. «Именины сердца», - сказал бы Гоголь. (И чего он мне всё чаще на ум приходит?).

Но увы, исследователь, который явно «слишком много знал» (*Динерштейн Е. А. Маяковский в феврале — октябре 1917 г. // Новое о Маяковском / АН СССР. Отд-ние лит. и яз. — М.: Изд-во АН СССР, 1958. — С. 541—570. — (Лит. наследство; Т. 65). <https://feb-web.ru/feb/litnas/texts/l65/m65-541-.htm?cmd=p>*), даже и не пытается толковать данную запись таким образом. О встрече Маяковского с Лениным он хранит каменное молчание (как и сам Маяковский, кстати, но не будем спешить). А просто поясняет: речь идёт о приглашении в Смольный новой властью деятелей культуры и искусства... через неделю после Октябрьского переворота. То есть, они пришли не сами, а когда их позвали. Что же до ТОГО ДНЯ и неизреченной (похоже, что в прямом смысле слова) ВСТРЕЧИ С НИМ, то в тихом и скромном примечании 67 (с. 569), известном советскому маяковсковедению с 1958 (!) года, читаем: «Другим свидетелем, видевшим Маяковского в Октябрьские дни в Смольном, был политический обозреватель газеты «Новая жизнь» М. Ю. Левидов: «Помню, 25-го ночью Съезд Советов был знаменитый, где был объявлен

Совнарком. Все журналисты были, я был, Маяковского не было. 26-го с утра, помню, пришло нас несколько человек. Но из журналистов в Смольный никого не пустили, кроме меня. И в течение десяти дней единственный журналист, который бывал в Смольном, это был я. Но нельзя же было коллег оставить без информации, так я им давал их. Я говорил — вот вам моя информация, а вы с ней делайте, что хотите; это не я даю, а вы даете, я даю только факты. И вот тогда я встретил в Смольном Маяковского. На протяжении этого периода — ближайших двух недель, потому что после ходили все» (М. Ю. Левидов. Воспоминания о Маяковском. Беседа 7 января 1939 г. Рукопись. — БММ, стр. 11—12)». *(Конец цитаты, и немая сцена из «Ревизора». Я могу городничего, но могу жандарма, а вы — кого хотите... — Л.С.)*

Итак, точный момент встречи с Маяковским не указан, но два факта не подлежат сомнению: В ТОТ ДЕНЬ Левидов его не видел (проглядеть же едва ли мог!), а НЕ ТОТ ДЕНЬ, то есть когда увидел, наступил далеко не сразу — в течение «ближайших двух недель». И увидел, судя по всему, только раз, иначе сказал бы не «встретил», а «встречал». Возможно, как раз тогда, когда деятелей культуры пригласил Всероссийский ЦИК. Между тем, в штаб только что победившей революции, да ещё когда ты готов делать «Всё, что приходилось», а не одно лишь светское культуртрегерство, заходят — не на минуточку. Вы будете там дневать и ночевать, лихорадочно метаться по такому же бессонному Петрограду — один или окружённый новыми друзьями в кожаных куртках. Масса новых знакомств, поручений, бумажек и обязанностей, а значит — воспоминаний и свидетельств... Где, где всё это?

Зато сохранилась дневниковая запись М. А. Кузмина от 26 октября 1917 года: «Чудеса свершаются. Все занято большевиками... Пили чай. Потом пошли к Брикам. Тепло и хорошо. Маяковский читал стихи...» (ЦГАЛИ, ф. 232, оп. I, ед. хр. 57, л. 9—10). (Цит по: <https://feb-web.ru/feb/mayakovsky/kmh-abc/kmh-020-.htm> Катанян В. А. Маяковский: Хроника жизни и деятельности / Отв. ред. А. Е. Парнис. — 5-е изд., доп. — М.: Совет. писатель, 1985. — С.135). Спрашивается, где у Владим Владимыча было время и даже силы после бессонной ночи в Смольном развлекать посетителей у Бриков — без сомнения, самыми революционными строфами на свете? Весь его привычный ритм жизни должен был круто измениться, не оставив ему на многие дни и даже ночи вперёд ни одной свободной секунды...

Но, может быть, в письмах Маяковского что-то есть? Был он где, или нет, видел кого-то, или втирает очки с привычным античным лаконизмом... ЧТО-ТО ЖЕ ДОЛЖНО БЫЛО ИЗМЕНИТЬСЯ в его жизни, коль на дворе — те самые Десять Дней, Которые Потрясли Мир?!

Владимир Маяковский. Полное собрание сочинений в тринадцати томах. Том тринадцатый. Письма и другие материалы. ГИХЛ, М., 1961

«37

А. А., Л. В., О. В. МАЯКОВСКИМ

[Петроград, 30 октября — начало ноября 1917 г.]

Дорогие мамочка, Людочка и Оличка!

Ужасно рад, что все вы целы и здоровы. Все остальное по сравнению с этим ерунда. Я уже писал вам (передавал письмо через знакомого). Теперь опять передаю через знакомого москвича; почте не очень сейчас доверяю.

Я здоров. У меня большая и хорошая новость: меня совершенно освободили от военной службы, так что я опять вольный человек. Месяца 2—3 пребуду в Петрограде. Буду работать и лечить зубы и нос. Потом заеду в Москву, а после думаю ехать на юг для окончательного ремонта.

Целую вас всех крепко.

Ваш Володя.

Пишите!

38 Л. Ю., О. М. БРИК

[Москва, середина декабря 1917 г.]

Дорогой, дорогой Лирик! Милый, милый Осик!

"Где ты, желанная,

где, отзовися".

Вложив всю скорбь молодой души в эпиграф, перешел к фактам.

Москва, как говорится, представляет из себя сочный, налившийся плод(ы), который Додя, Каменский и я ревностно обрываем. Главное место обрывания — «Кафе поэтов».

Кафе пока очень милое и веселое учреждение. («Собака» первых времен по веселью!) Народу битком. На полу опилки. На эстраде мы (теперь я — Додя и Вася до рожд<ества> уехали. Хуже.) Публику шлем к чертовой матери. Деньги делим в двенадцать часов ночи. Вот и все.

Футуризм в большом фаворе. (...)». *(Конец цитаты. Дальнейшее цитирование полагаю беспредметным. — Л.С.)*.

Не нужно быть гением литературного анализа, чтобы понять, кто это писал. Вольный человек, в жизни которого нет и не предвидится никаких «хозяев», что бы там от них ни «приходилось», и о чём бы они ни «начали заседать». Он сам и только сам планирует своё время на месяцы вперёд. В Петрограде особо не задержится, в Москве тоже, предвкушая южный отдых. Погружён в собственные дела. Лиличка, знакомые, здоровье, доходы... А доходы хор-рошие, а будут ещё лучше — Владим Вдадимыч в совершенстве владеет искусством потрошить карманы светских бездельников! Какой же тут ещё Смольный, какой Самый Человечный, Самый Земной, Вечно Живой... кто он там ещё, дай бог памяти? Уважаемая публика, кто хочет получить в морду, становитесь в очередь... И грустно вздыхает годы спустя Е. А. Динерштейн в вышеупомянутой содержательной статье: «Но горячо приветствуя новую власть, Маяковский не сразу нашел те конкретные формы применения своего таланта, которые ей в тот момент были нужны. Маяковский работает в частной кинофирме В. Антика «Нептун», выступает с эстрады «Кафе футуристов». Как ни интересны были эти творческие поиски, они все же пока шли в стороне от больших задач искусства революционной эпохи». (С. 563).

И последнее на данную тему – ибо пора уже закончить наше **Обоснование А.** Как сказал Евтушенко: «Порой превыше всех времен, // всех упомянутостей пошлых // неупомянута имен». Иначе говоря, отсутствие факта – тоже факт. Описывая февральский визит 1917 года в Думу, и даже признаваясь, что ничего героического при этом не было, Владим Владимыч тем не менее почти щедр (для его стиля) на детали и имена. «Пошёл с автомобилями к Думе. Влез в кабинет Родзянки. Осмотрел Милюкова. Молчит. Но мне почему-то кажется, что он заикается. Через час надоели. Ушёл. Принял на несколько дней команду Автошколой. Гучковее. Старое офицерье по-старому расхаживает в Думе. Для меня ясно — за этим неизбежно сейчас же социалисты. Большевики». Милюков, Родзянко, Гучков... Не Наполеоны. И не большевики, которых ты провидишь и жаждешь, будто горьковский Буревестник. Но всё-таки исторические лица... Сам видел – так отчего ж не назвать? Пусть и у читателя возникнет впечатление невымысленной, живой истории. Но вот наконец пришли ОНИ (долгожданные! желанные!), а во главе – ОН!!!!!!!!!!!!!! (Тут я уже устал, и просто запущу ролик: Самый Человечный, Самый Земной, Вечно Живой, Знание-Сила-Оружие, Обыкновенный Мальчик Железа Твёрже, И Прочая, Прочая И Прочая Всея Руси). И... НИ ГУ-ГУ. Ни одного автобиографического слова о «ярчайшем дне», или, если вам угодно, «ярчайшей ночи» в жизни Поэта.

«И вообще нигде, никогда?», - спросит читатель. Нет, отчего же! В пылу полемики, когда Демьян-злопыхатель, а также его пособник, журналист Сосновский, обвиняют тебя, что ты исказил в своей поэме образ Вождя – да! Демьян рвёт и мечет: к солдатам революции в Смольном «вышел сонный Ленин»! И Сосновский витийствует: «Были поэты, которые не решаются писать о Ленине, не находят слов, а между тем есть люди, которые за словом в карман не полезут...». Тут молчать нельзя. Съедят и косточки выплюнут!

«(...) Немногим из нас было дано счастье увидеть товарища Ленина. Взятый мною факт это один из тех, которые я описывал с натуры. Эта картина была в дни революции буквально списана с товарища Ленина, **и такой способ стоять, заложив руки, всем известен.** (Значит, необязательна натура... Ну, а насчёт «немногим»... Его многие видели в те годы. Просто *Вы* не бывали там, где его можно увидеть. – Л.С.). Дальше, для того чтобы сказать «заспанный», — это настолько казалось невероятным для Ленина, что за этой строчкой идет:

...шагал,
становился
и глаз, сощуря,
вонзал,
заложивши
руки з_а_спину,
В какого-то парня
в обмотках,
лохматого,
уоставил
без промаха бьющий глаз,
как будто
сердце
с-под слов выматывал,
как будто
душу
тащил из-под фраз.

Может быть, после этого т. Сосновский будет меня учить, какими образами изображать Ленина». (**Выступления на Первой Всесоюзной конференции пролетарских писателей 9 января 1925 года // Владимир Маяковский. Полное собрание сочинений в тринадцати томах. Том двенадцатый. Статьи, заметки и выступления. Ноябрь 1917—1930. М., ГИХЛ, 1959).**

И это ещё цветочки! Нет, не зря я выше назвал Владим Владимыча «многохитростным»... Ещё чуть позже окажется, что он видел Ленина МНОГО РАЗ! А заодно, сам того не желая, расскажет нам, как можно «конструировать» образ того, кого ты вообще на самом деле не видел:

«Далее укажу вам, товарищи, что в деле запечатления для нас фигуры, лица, всех оборотов <поворотов?> тела Владимира Ильича — работа художников равняется нулю, хотя я видел, как они, сидя со мной рядом на многих заседаниях, на которых выступал Владимир Ильич, (*«Хо-хо!!!» - возопила бы некая литературная героиня, и как бы ни был мал её словарный запас – на сей раз в точку! – Л.С.*) скрипели своими карандашами. А если мы обратим внимание, что дало Владимира Ильича, как он есть, — это фотография, сделанная кинематографом, это кинематограф, который уловил все движения Владимира Ильича, и этот кинематограф дает живого Владимира Ильича со всеми его чертами. Посмотрите картину того же Бродского, где Владимир Ильич стоит на фоне Кремля, как он <Бродский> заботливо оставляет целиком весь фотографический силуэт и все фотографические детали, приписывая только фон: в одном месте фон — Москва-река, в другом месте фон — бушующее море, взятое у Серова. (*В третьем месте фон – белый конь с огнедышащими ноздрями. Холопами были, холопами и остались. – Л.С.*). И максимум до чего дошла изобретательная мысль художника, я вчера видел в конторе «Двигатель» — это портрет Владимира Ильича, который через переводную бумагу снят и только дан другой поворот, в другую сторону. Это ясно и категорически указывает, что время зарисовки, время корпения с карандашом там, где есть великолепное изображение фотографии, ушло в далекое прошлое». (**ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ДИСПУТЕ ПО ДОКЛАДУ А. В. ЛУНАЧАРСКОГО «ПЕРВЫЕ КАМНИ НОВОЙ КУЛЬТУРЫ» 9 февраля 1925 года // Там же).**

И ведь он не просто так это говорит, точней, выкликает — через месяц после вапповской перепалки! Нет, Владим Владимыч настойчиво внедряет в сознание слушателей мысль, что ТОЛЬКО ОН — и никто другой! — может знать, как изобразить истинного Ленина. Ленина, которого он «многократно» видел воочию. На кино- и фотоплёнке... Или чужих портретах. С его ловкостью достаточно. Но так можно сказать на докладе: никто тебя не прервёт — даже Демьян! — и не начнёт расспрашивать: а что? а где? а когда? Нет, что ОН там делал, мы знаем, а вот что ВЫ там делали, дорогой? И кто вас там видел?

В автобиографии безопаснее величавый лаконизм ожившего памятника. «Моя революция. Очнулся — гипс!». — «Не умеешь ты врать, Сеня... И хорошо. Умел бы — тебя бы никакой анализ не взял...». По всему поэтому в глуши Крайльсхайма я полагаю, что наш Владим Владимыч в глаза не видал ни Владимира Первого Мечтателя, ни Николая Второго Кровавого, ни Александра Второго Освободителя, ни Александра Третьего Миротворца.

Стоп-стоп-стоп... Насчёт Владимира Первого - да, почти доказали. За обилием косвенных улик, и даже одной прямой (журналист Левидов). Но при чём тут Николай и

его семья? Даже если бы моя фамилия была Фунт, и я достиг бы своего девяностолетия во время очередной отсидки – тут нужны дополнительные соображения. Итак...

Обоснование Б. (И встречу с царской семьёй, покуда она была ещё жива, Маяковский почти наверняка выдумал).

Вернёмся к «Императору» и задумчиво его поразглядываем. Какой невинный зачин... Лучше бы, конечно, сказать «не помню»:

Помню —
 то ли пасха,
то ли —
 рождество (...)

Пасха – это апрель. Рождество – декабрь. В весенние и предновогодние дни Тверская улица, самый фешенебельный променад Москвы, так же, как и царский кортеж, должны были выглядеть по-разному. Пускай даже не шёл пар от дыхания людей и лошадей: погода стояла тёплая. (Кто мне сказал? Маяковский:

вымыто
 и насухо
расчищено торжество.

Если б был мороз, улицу мыть не стали бы – обледенеет). Однако... снежный наряд на крышах и на карнизах, сугробы на обочинах, неповторимая обстановка Рождества – всё это никуда не денется! И пусть даже в царской свите одни военные, а значит – в шинелях, а не в шубах, но на женщинах - меха... Мальчик-гимназист из грузинской глухомани не мог быть таким беспамятным. И не понимать, что видит столь сказочное зрелище – ЦАРЯ И ЕГО СЕМЬЮ! - скорее всего, один раз в жизни, и то по невероятнейшей оказии! Это он читателю показывает «торжество» глазами взрослого «агитпроповца», занятого самым примитивным «науськиванием» («чурки-дочурки»! «на наших горбах!» Ы! Ы их всех!), но в натуре-то он тогда был ребёнок... Безгранично, зоологически завистливый. **Только такие всю жизнь кого-то на кого-то науськивают, человеку НЕзавистливому никогда не надо чужой беды.**

Мне хочется немного задержаться на данной мысли, ибо она едва ли не важнее всего очерка. «Император» дожидался нас долго – выдержит и ещё один абзац. В этом же скажу: глубоко НЕслучайно то, что Олеша, коллега Маяковского, из всех «отживших», «ушедших в прошлое» чувств решил увековечить именно ЗАВИСТЬ. Чутьё художника оказалось сильнее страшной, ядовитой пропаганды, которой его накачивала новая власть, как курильщика в опиумном притоне. Я не видал ни «агитпроповцев а ля натюрель», ни тех, с кого Булгаков списывал МАССОЛИТ, не примерял на своё чело «алмазный мой венец», задыхаясь от мафиозного тщеславия... Но, судя по их стихам и прозе, почти все они были такими интриганами и завистниками, за которыми не угнался бы ни один бальзаковский денди. **ЗАВИСТЬ – причина, источник и питательная среда любого фашизма в мире:** «красного», «коричневого», серо-буро-малинового в крапинку. «Вы ошибаетесь, - скажет мне любой Отставной Марксист. – Тут глубже. Тут экономика...». **Но нет экономики, которая учила бы убивать и грабить**, так что не стоит валить на несчастную старуху наши грехи. Экономика отвечает за наши действия не больше, чем светофор за пешехода, решившего «не заметить» красный свет. Она создаёт предлог – но не причину! - чтобы доверчивые, слабовольные и недалёкие люди начинали слушать ещё больших дураков и завистников, чем они: фашистов. Иначе у

последних всегда был бы один слушатель - психиатр. И только один диагноз: комплекс неполноценности, готовый абсолютно на всё. Эту «горящую нефть» не загасить никакими деньгами или властью, она от них лишь ярче пылает: ведь чтобы получить деньги и власть, приходится себя унижать... Вот почему победившему фашизму недостаточно материальной «компенсации»: ему нужны пытки, издевательства и лагеря смерти. Которые тоже не помогут.

А теперь вернёмся к стиху, и давайте посмотрим на Володичку, каким он был в те года:



Ну как? Забудет такой, когда именно он видел людей, с детства, по праву рождения имевших то, чего ни он сам, ни товарищ Нетте, пароход и человек, ни товарищ Костров с присущей душевной ширью, ни товарищ Луначарский, ни товарищ Ленин, ни свиной король Свифт («Сифилис»), ни даже сам мистер Форд иметь не могли бы? Упустит он хоть одну деталь при встрече? А на царскую семью стоило посмотреть! Николай был очень импозантным мужчиной – истинная царская внешность. Тут он потягался бы в мировой истории с кем угодно, хоть в коронах и мантиях, хоть без. Да и дочери его выглядели отнюдь не «чурками»... «Я жирных с детства привык ненавидеть, всегда себя за обед продавая...» - это он не лгал, наш Володичка. Он смотрел БЫ на царское ландо тем же взглядом, каким шекспировский Яго созерцал нарядную, счастливую Дездемону, плывущую по садам в своих пышных юбках под ликующие клики толпы.

И – наконец мы подошли к сути дела! – если БЫ он видел царя и царских детей, он обязательно нашёл БЫ сочные, унижительные, упоительные, позорные детали, чтобы унижить летящую мимо Сказку. Его б иначе зависть заела! Не поймите меня превратно: он И НЕ ВИДЯ нашёл бы подобные детали, если бы захотел. Его мастерство от этого не зависело. Да, свои задатки гения Владимир Владимирович Маяковский пустил по ветру – но всё же они у него были. Я не специалист по иконографии Ленина, тем не менее сомневаюсь, что на каком-то портрете, фото- и кинокадре мы встретились бы с «заспанным» Ильичом. «Заспанность» Маяковский придумал сам. Ново, свежо, создаёт атмосферу «подлинности» - липовую, но убедительную. Пусть Демьян каркает, пикирует сверху, выклёвывает глаза – ему слабо!

Да. Если б захотел... В том-то и дело, что писать «Императора» Владим Владимычу, судя по вымученному результату, вовсе не хотелось. Лично против царя он, видимо, уже давно ничего не имел. Кроме того, что ни говорите, но царь не раз отпускал его из тюрьмы домой, и если Володичка ни в коем случае так на его месте не поступил бы, не стоит лишать его всяких человеческих чувств. Слишком много крови... царица... девушки... мальчик... слуги... «совсем уже становлюсь шакалом? Мне же не отмыться потом!». И, прекрасно понимая, по какому тонкому льду он шествует (мы уже упоминали об этом перед статьёй Г.Беловолова: «Кругом голодные Демьяны. Поэт, спасай от них карманы!»), Владим Владимыч сразу же говорит себе, что *эта* агитка лихой, увы, не будет. Самую эффектную сцену – расстрел – придётся опустить: там все эти дочки и, главное, тринадцатилетний щенок, будь он неладен! Не могли их кокнуть отдельно, в интересах массовой пропаганды? Но... можно «проехаться» по царской семье, покуда она была ещё жива. Выдумать встречу с ними. В Москве. Давно. Хамства - в меру, чтоб не пересолить: русский читатель жалостлив, а тут – жертвы. Вообще, главное внимание – не на них, а на их охрану. Где царь, там полиция, а полиция должна зверствовать. Пусть она кого-нибудь арестует. Некого хватать на Тверской? Ну, а мы не будем писать, кого да за что, в агитках таких вещей не замечают. Дальше – живые впечатления от поездки в лес, на могилу. Не найдём её саму – лес опишем. Жуткий. Дремучий. Погода должна быть мрачной, даже если на деле она была отличной. И – что-нибудь хлёсткое в финале. Только про царя. Одного. Больше ни слова ни о ком. Лучше, чем ничего, а хор *кровожадных* дураков всегда поддержит.

Вот и получилась *просто агитка* – говоря слогом древних римлян, «агитка вульгарис». Без личных и лишних чувств. На мой взгляд, Владим Владимыч написал черновые строки о ПОСМЕРТНОМ помиловании царской семьи и помещении её в зверинец «промежду гиеной и волком» - по довольно тонким соображениям. Он сразу знал, что эти строки так черновыми и останутся. Уж если стих о *расстреле* царской семьи был изначально рискованным поступком, то выражать при этом *сомнение в необходимости расстрела* стало бы в 1928 году политическим самоубийством. Но, во-первых (да, именно во-первых! Кто сам пишет, тот знает, на что способна «инерция стиха»). Вы сочиняете, фантазируя, как опубликуют и восхитятся вами, хотя в душе твёрдо отдаёте себе отчёт: напечатать такое невозможно.), – итак, во-первых, помилование задним числом поднимало Владим Владимыча в собственных глазах, ничего при этом не стоя. А во-вторых - зато в-главных! - нужно было «моральное алиби» на будущее. Такая же фальшивка, как дневник Троцкого, где тот делал вид, будто ничего о расстреле заранее не знал, за него не голосовал, и т.д. (См. напр. статью «Википедии» «Расстрел царской семьи»). Или, в качестве другого примера, сентиментальные записи в дневниках Лили Брик, где она выражает скорбь по «Володику». Не чрезмерную – это не подобает светской львице; но достаточную, чтобы не выглядеть бесчувственной и подчеркнуть свои права на поэтическое наследство покойного.

Когда придёт «некоммунистическое далеко», трудно сказать, каким именно оно будет, мыслил Владим Владимыч. Но без Профессора Очки-Велосипед не обойдётся. Он тут, и он хочет есть! Его аппетит не зависит от пришествия коммунизма. Значит, черновики Владим Владимыча подлежат благоговейному изучению. Если это самое «далеко» окажется таким же морально недалёким, как текущий момент, но в то же время немножко более «левым» – профессор похвалит Поэтов гуманизм. «Он не хотел! Он протестовал! Вот, вот она – пламенеющая, словно живой факел самосожженца, «фига в кармане»!». Но ясно же, напечатать её при жизни Гуманиста – ни-ни. Времена Радищева миновали... И, с другой стороны, если будущее дурачье окажется вполне достаточно «правым» (частично «правым», просто нормальным дурачьем, которое в любую эпоху дико

завидует царям), то будет беспроязвительным шагом поиздеваться над расстрелянными и как всегда подчеркнуть, что они не люди. А гиены. И волки... Они *могли бы быть помилованы* - не ради них самих, но из уважения к «коммунисту и человеку». Владим Владимычу. Иже опять угодил всем, хоть левым, хоть правым, не подвергнув себя ни самонаименьшей опасности, зато очистив свой Вечный Монумент от кровавых пятен. Последний из детей лейтенанта Шмидта точно знал: как бы он ни глумился над казнёнными, даже если их казнь уже официально объявят преступлением, - ему всё простят. Нормальный, классический дурак не пишет длинных статей или стихов о сильных мира сего, не станет раздумывать над ними, его реакция отработана и так: «А чё он ца-арь, а я не-ет? Ы! Ы! его! Эх, был бы я царём на Москве, я бы всем башку посрубал... ВСЕМ ВРАГАМ ТРУДЯЩИХСЯ!!!». Не судите... Чтобы не завидовать Людовику XVI или Павлу I, нужно и самому в каком-то смысле быть царём. Пушкин им и был.

И он как в воду глядел, Владим Владимыч, когда предоставил кесарево кесарю, а черновое - черновику. Валентин Лукьянин, наш современник и бывший главный редактор журнала «Урал», даже и покинув свой идеологический пост, держит порох сухим.

В статье «Маяковский “сам” и пять его свердловских дней» («Урал», 2003, № 1) (<https://magazines.gorky.media/ural/2003/1/mayakovskij-sam-i-pyat-ego-sverdlovskih-dnej.html>) автор не скупится на вздохи о сегодняшней никому не нужной демократизации и «фрондирующей интеллигенции». То ли дело златые дни Маяковского... и куда они только удалились? Однако же наш публицист верен истине: **«Гораздо более очевидные мировоззренческие трудности пришлось ему испытать с третьим стихотворением свердловского цикла — “Император”».**

Зерно этого замысла можно обнаружить в стихотворении «Екатеринбург — Свердловск». Я имею в виду пассажи про изумруды для «коронованной Катюхи» и особенно про то, как «разослала / октябрьская ломка // к чертям / орлов Екатерины // и к богу — / Екатерины / потомка». Выглядят они там, конечно, поверхностными, необязательными, а сегодня и просто циничными, но соответствовали тональности того времени. А появились они в стихотворении, несомненно, под свежим и, так сказать, до конца еще не переваренным впечатлением от разговора с А.И. Парамоновым, который, конечно же, не преминул рассказать московскому гостю и про то, что на плотине городского пруда стояли бюсты Петра и Екатерины, а после революции их сбросили с постаментов, и про то, что Николая II расстреляли в Екатеринбурге и тайно захоронили близ деревни Коптяки».

В. Лукьянин не боится слова «цинизм». А когда читаешь у него вот такое, хочется прослезиться самому, встать и спеть «Интернационал»: **«В силу ряда причин для Маяковского традиционная тема обрела личный смысл и особую остроту. Во-первых, Николай II не был отдален от него толщей времени — как, скажем, Цезарь или Наполеон; его “подданным” он еще недавно сам числился, даже однажды довелось и увидеть его воочию проезжающим в сопровождении кортежа по Тверской — запечатлелось в памяти. Во-вторых, катастрофа, постигшая последнего российского императора, явилась не капризом слепой и безликой судьбы, но прямым следствием революции, к которой поэт, как мы видели, не “примкнул”, а изначально с ней был генетически связан. То есть он мог отчасти и себя считать вершителем судьбы российского самодержца. Только стоило ли этим гордиться?»**

Читатель, склоненный на свою сторону Ю. Карабчиевским, может усомниться в том, что такой вопрос вообще мог встать перед Маяковским. Но: “Маяковский насквозь человечен”, — утверждает Цветаева, толкуя, однако, это определение не совсем так, как принято в обиходе. Не “гуманный”, “внимательный”, “отзывчивый” (хотя многие, кто был к нему близок, находили в нем и эти качества), а аккумулирующий в себе и потому многократно усиливающий (“Гулливвер среди лилипутов”) нормальные человеческие чувства: “Глазомер масс в ненависти и глазомер всей массы Маяковского в любви”.⁵³ “Человечный” в этом смысле Маяковский мог не любить Достоевского, но не мог проигнорировать вопрос о цене коллективного “счастья” (помните — про “слезу ребенка”?). Да ведь это же вопрос не только “метафизики”: любой нормальный человек по повседневному своему опыту знает: когда спадает ожесточение боя, у победителя нередко пробуждается сочувствие к поверженному врагу. Вот это — по-человечески.

Так что кровавые события гражданской войны и расправа над царской семьей должны были возбуждать у поэта острые, хотя и, думаю, достаточно смутные, неоднозначные переживания. Только этим, на мой взгляд, и можно объяснить желание Маяковского непременно побывать на месте захоронения царя».

Повторяю: я не ребёнок, но хочется прослезиться самому. Однако погодим со слезами; запомним высокий гуманистический пафос, и - дальше, дальше! «О том, как они ездили на то место, - продолжает В. Лукьянин, - написано немало и вроде бы детально, но детали не всегда кажутся достоверными. А.Р. Пудваль (уральский краевед – Л.С.) живописует роскошный морозный день: “Провода закуржавились и круто провисли под тяжестью игольчатой бахромы. Деревья казались сказочными: сосны будто постанывали под тяжелым снежным малахаем <...> («Рассупонилось солнышко, расталдыкнуло свои лучи по белу светушку...»). Узнаёте брата Колю? – Л.С.). И все вокруг было чисто, ясно и бодро”. Пудвалю надо бы верить: он ведь сам расспрашивал А.И. Парамонова об этой поездке. Но как не верить Маяковскому, который рисовал совсем другую картину: “На всю Сибирь, / на весь Урал // метельная мур”; “Вселенную / снегом заволокло. // Ни зги не видать — / как на зло”. С другой стороны, у Маяковского — “у корня, / под кедром, / дорога, // а в ней — / император зарыт”. Какой кедр? Нет и отродясь не было в том месте кедров!». Ай, не позавидуешь В. Лукьянину, горек хлеб редактора, защищающего истину! Не знает он, что какая погода Владим Владимычу нужна, такая она и будет... Но куда же он нас ведёт по тяжкому пути познания – как Гойю, если в Испании бывают сугробы?

Вот и «лесной эпизод» в «Императоре» позади. «Другой поэт, - пишет В. Лукьянин, - здесь и поставил бы точку. („ЗДЕСЬ НЕТ ДЕЛ ПО КРЕПОСТЯМ! Иными словами: нет «агитпроповца», который здесь поставил бы точку. Ему осталось бы лишь эмигрировать в Шотландию и пойти в Вальтер Скотты. – Л.С.). Но Маяковский — поэт действия, ему необходимо настроить стихотворение “на максимальную помощь своему классу”. И он честно пытается вывести из сказанного внятную мораль, а какая тут может быть мораль?..». (Хорошо сказано! Со вздохом... – Л.С.).

И наконец автор переходит к черновикам в записных книжках – может, там она, мораль? Пора бы... «В черновике много вариантов и строк, не вошедших в окончательный текст (они все приведены в 9-м томе его полного собрания сочинений). Он ищет выразительное слово, деталь, ищет тон, а главное — ищет итог, вот ту самую мораль.

За один из вариантов ухватился в начале “демократизации” (как охотно вместо кавычек кто-то перечеркнул бы это слово! Нельзя: надо разоблачить не только Мешкова, но всех, кто порождает «мешковщину». – Л.С.) уральский литературовед Ю.А. Мешков. Он опубликовал — будто бы из записной книжки — фрагмент, не вошедший в окончательный текст: “Спросите: руку твою / протяни, / казнить или нет / человечьи дни?..”⁵⁶ Однако сенсация не получилась: в упомянутом 9-ом томе эти строки есть (на с. 444), только они там (как обычно и бывало в черновиках Маяковского) — без знаков препинания и без разбивки строк “лесенкой”. И далее — уже не раз цитированные строки «Промежду гиеной и волком». Сейчас мы узнаем наконец, чего хочет В. Лукьянин с его бесконечными «влево-вправо, влево-вправо»! Я не поклонник чекистской прозы, но поневоле вспомнишь роман В. Богомолова «Момент истины»: как там «ловцы человеков», точнее, шпионов, «качают корпус», чтоб в них нельзя было целиться...

Вот и узнали. «Момент истины» звучит у главного литературного идеолога Среднего Урала так: «В этих — особенно в последних двух — строчках (о «некроважном коммунисте» - Л.С.) Юрий Анатольевич увидел “не классовую, а человеческую, нравственную оценку случившегося”, которая, по его мнению, в 20-е годы выглядела совершенной крамолой (ах, только по его? А на самом деле? – Л.С.), поэтому, дескать, Маяковский в очередной раз “смирил себя”. Думаю, это фантазии чистейшей воды. Перед нами наброски фраз, несомненно, соотносившихся с какими-то поворотами мысли поэта, но они не предназначались для постороннего глаза, да и на самом деле постороннему человеку — проверьте на себе, читатель, — могут показаться непонятными, даже косноязычными и бессмысленными. (!!!!! – Л.С.). Это та самая “словесная руда”, из тысяч тонн которой, согласно известному афоризму Маяковского, извлекаются лишь граммы полновесных слов. **Не осторожничающий “внутренний цензор”, а сам требовательный к себе поэт их забраковал:** по заключенному в них словесному жесту они категорически не вписывались в тот подспудный “гул”, которым наполнены две контрастирующие между собой части стихотворения. (Получается, что и Достоевский со «слезой ребёнка» в подспудный гул не вписался? Где ж оно, сочувствие побеждённому?! Вместо сострадания и «человечного в этом смысле Маяковского» – «чурки» да шахта... Не успел В. Лукьянин обнадёжить гения русской прозы самым недвусмысленным образом, суля ему ласку и почёт, как уже: «Позвольте вас выйти вон!»? Хорошо, что умираем лишь одна, а то бы у Фёдора Михайловича, пожалуй, сердце не выдержало... - Л.С.).

В конце концов Маяковский остановился на варианте, который показался ему приемлемым: “Прельщают / многих / короны лучи. // Пожалте, / дворяне и шляхта, / корону / можно / у нас получить, / но только / вместе с шахтой”. Боюсь, что это было поражение поэта, не сумевшего на этот раз в какофонии жестокой социальной ломки расслышать “гул” истории. Плоский финал перечеркнул этапный замысел... Но разве дело тут в таланте поэта?». (Конец всех цитат и моей веры в человечество. Но миллиона мне за это никто не даст – ни Александр Иванович Корейко, ни В. Лукьянин. - Л.С.).

Многого я ждал — но не этого. Ну что же, потому-то, наверно, я никогда и не был редактором журнала «Урал», и никогда им не буду. Казалось бы, Владим Владимыч принял все меры предосторожности, сделав для «Императора» два финала! Беловой, или «беспощадный» («всех царей расстрелять, и в шахту!»), и черновой, «пощадный» («посмертно помиловать, и – в зверинец!»). На левый вкус, и на правый кус... Но В.

Лукьянина даже такое не устроило. Он «беспощадный» финал объявил «плоским» (не побоялся! посмел! **Ведь лучше «плоский», чем «чудовищный»**), а «пощадного»... вовсе не было, потому как он «непонятен». (Что в нём непонятного – непонятно тоже, однако читателя довольно похлопать по плечу («проверьте на себе!»), и он всё проглотит. **Ведь лучше «непонятный», чем «трусливый и ещё более чудовищный»**). В итоге достойного финала нет вообще, а В.Лукьянина нельзя обвинить ни в правом, ни в левом уклоне. Зато общий тон статьи не оставляет сомнений: «Я лиру посвятил начальству своему...».

«Вот и отпели донские соловьи любушке моему Владим Владимычу», - вздохнул бы М.А. Шолохов, перед которым В.В. Маяковский – всё равно что младенец перед чёртом. Мне больше нечего у него исследовать. Что же мне сказать ему на прощание? Ничего? Но мой очерк слишком многим ему обязан. Пожалуй, прокомментирую отрывок из монографии Дмитрия Быкова «Маяковский: Трагедия-буфф в шести действиях. — М.: Молодая гвардия, 2016. — С. 433-434. Мне много чести быть маяковсковедом, и потому я не буду высказываться о данной книге в целом. Но в одном случае всё же стоит... Автор выражает обоснованнейшие сомнения в том, что Владим Владимыч и впрямь метал бы по Кремлю бомбы, если б Ленин был «царствен и божествен»:

В это, конечно, слабо верится — но почему бы и не допустить, что сравнительно ранний, революционный Маяковский в самом деле восстал бы против вождизма? Так-то, в личной практике, что особенно печально, он из всех наркомов нападал только на Луначарского, точно зная, что ничего не будет; когда началась травля Троцкого — он в ней никак не поучаствовал, но не потому, что высоко чтит Троцкого (никаких свидетельств в пользу этого у нас нет), и не потому даже, что не хотел быть сто первым в этой травле (мы не помним случая, чтобы он выступал в защиту травимых), а потому, что уважал вождей и ни об одном из них не сказал плохого слова. Мало ли, сегодня травят, завтра славят — он уже понимал, что партия меняет фаворитов, как Лиля, если не быстрее, и спорить с ней по этому поводу так же бессмысленно, как с Лилей. Иное дело, что ожидать от Маяковского особого вождеборчества тоже не приходится: это он Богу может говорить — «раскрою откуда до Аляски», а с реальными земными богами вполне уважителен. Мертвого пнуть — это да, бывало (хотя в 1928 году он как раз попытался защитить мертвого императора, сказав в

черновике: «Коммунист и человек не может быть кровожаден», — но это так и осталось в записной книжке); вообще же обещание «метать бомбами по Кремлю» стоит счесть чистой гиперболой. Ни до, ни после семнадцатого года он по Кремлю бомбами не метал, присоединяясь к революции уже постфактум; видимо, он действительно мало верил в Бога, считая, что уж за богоборчество точно ничего не будет, а насчет Кремля еще неизвестно.

Для поэта, сколь это ни странно звучит, естественно искать союза с властью — прежде всего потому, что поэзия существует в мире иерархий. Понимать главенство, уделять внимание первостепенному — для нее естественно; и сколь ни горько в этом признаваться, соблазн «труда со всеми сообща и заодно с правопорядком» для поэта вечно актуален. Пушкин пишет «Клеветникам России» и «Бородинскую годовщину» — и вполне искренен в этом; Мандельштам пытается жить, «дыша и большевея»; Пастернак сочиняет «Стансы», а уж сколько сегодняшних литераторов поспешили поприветствовать русский Крым и проклясть недавних братьев-соседей, без всякой корысти, без малейшей личной выгоды! И все они — недурные поэты, и в этом качестве отличают верх от низа, и потому присоединение Маяковского к большинству — акт понятный и в каком-то смысле высокопоэтический.

Иное дело, что в таком веке, как двадцатый, с иерархиями — что эстетическими, что политическими — надо обращаться крайне осторожно; но поэзия и должна брать на себя главные соблазны эпохи — чтобы остальные, внимательно глядя на поэтов, могли от них воздерживаться.

«Вот так, господа», — молвил бы, вероятно, Окуджава. Продажность, оказывается, — акт понятный, и в каком-то смысле — высокопоэтический. И, да... ещё и похвальный! Берёт на себя соблазны, защищая от них — столь оригинальным образом! — простых смертных. «Я нравы людей совершенствую, // Полезный пример подаю», — это уже Некрасов, («Секрет»). Надеюсь, теперь ясно, почему я даже не углубляюсь в трели и рулады Д. Быкова?

«Под занавес» сего очерка я хотел бы поделиться с читателем одним воспоминанием из учительской жизни. По телевизору шло «Собачье сердце», и я счёл для себя приятным долгом заговорить об этом с моими восьмиклассниками. Вроде бы всё прошло неплохо: улыбались, кивали, оживлялись... Но каждый раз, когда заходила речь о Шарикове, я замечал на лицах многих ребят какое-то странное *томление*. Словно они не знали, как тут быть, и как им себя вести. Я не мог понять, в чём дело, а когда понял уже после урока, то с ужасом постиг, что я «телеурок» проиграл. Шариков, мерзкий сукин сын в прямом смысле слова, был безусловно отрицательным персонажем — тут спорить не приходилось. Однако для детей он был куда ближе, понятнее, роднее, чем все эти доктора-профессора с их бесконечными «простите-будьте любезны-после вас...». В очках и в шляпе. «Собачий герой» Булгакова вёл себя так, как вело себя привычное окружение моих ребят — дома, в школе, на улице, в транспорте, в подъезде. (Если нету рядом учителя, контролёра, милиции). Теперь давайте сгустим из воздуха — *сжизим*, так сказать — Концентрированного Среднего Папашу таких детей, покажем ему искомый отрывок из книги Быкова (объяснив, конечно, о чём тут в действительности речь) — и послушаем «глас народа». Но это уже не Читатель Моей Мечты. Он не склонен ни читать, ни мечтать.

- Да всё понятно, что я – глупее вас? «Продажность», «непродажность»... мура! Кому нужны неприятности? Да, хам. Да, трус. Да, подлец! НО ОН – ТАКОЙ, КАК МЫ. И ПУСТЬ ОСТАЁТСЯ! И если мой сын придёт из школы с двойкой за то, что он не выучил Маяковского – будет исправлять... А? Нет. Сам не читаю. Нужны мне все эти клопы, ленины и бани... Просто не люблю, когда разные Толстые, Чеховы и Булгаковы начинают мне объяснять, что можно, а что нельзя. Я люблю, когда мне всё можно! А с ним – всё можно. Надо только немножко побухтеть сначала про революцию, и как наши космические корабли бороздят Большой театр, а дальше делай что хочешь. НАМ ТОЖЕ НУЖЕН КТО-ТО ТАКОЙ, КАК МЫ. И ПУСТЬ ОСТАЁТСЯ!

- Ладно, пускай, - соглашаюсь я. - Поэзию отродясь не вершили с помощью запретов, они только подливали масла в огонь. И почитав Быкова, можно прийти к одной довольно правильной мысли: та же рыбка, только под другим соусом. Не подличать можно поэту, чтоб стать полезным «антипримером» для потомков (как уверяет Быков), - наоборот, с художника всегда первый спрос и моральная ответственность за каждое слово! Можно и нужно другое: потомки не должны забывать тех жутких, страшных памятников, которые наподличавший поэт соорудил сам себе. Я даже хочу оставить вам наглядный пример. Два портрета. Как там у Шекспира?

Взгляните, вот портрет, и вот другой,
Искусные подобию двух братьев.

.....

И, как бы чувства ни служили бреду,
У них бы все ж явился некий выбор
Перед таким несходством. Что за бес
Запутал вас, играя с вами в жмурки?

Впрочем, и без «Гамлета» ясно, кто из этих двоих – продукт эволюции «промежду гиеной и волком»...

